



**Михаил  
Скороходов**

**В ОСОБНЯКЕ**

БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА  
**★ СОВЕТСКИЙ ВОИН**



Михаил Аркадьевич Скороходов родился в 1913 году в Москве. Был рабочим, затем техником-геодезистом на Кузнецкстрое, техником в одном из отделов Моссовета, литературным сотрудником многотиражной газеты «Резец» Пресненского механического завода, учился в Литературном институте им. А. М. Горького.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами Красной Звезды и четырьмя боевыми медалями.

М. Скороходов — автор сборников рассказов «Движение вперед», «Начиная с этого дня», «Сердце остается чистым», «Моя родня — солдаты», «В отдаленном гарнизоне», «Песня вернется в роту», «Юность солдата», «Под открытым небом».



Тополевая аллея начинается сразу у проходной и ведет к штабу. Солнце только взошло и серебрит августовскую паутинку, на которой то тут, то там вертятся попавшие в нее тронутые желтизной листья и чуть дрожат капельки утренней росы.

В такую пору командир полка всегда узнает, проходил ли кто до него по аллее. Если возле уха не лопнет упругая паутинка или не ощутит он клейкую ее ниточку на губах, стало быть, кто-то уже проходил. Может, связной пробегал в ДОС, сокращая путь. Может, какой офицер поднялся ни свет, ни заря и спешил в казарму.

На душе у полковника Смирнова не совсем спокойно, хотя в полку все благополучно, все как надо. Сейчас он придет

в штаб и позволит себе немного посидеть без дела, порассуждать с самим собой, поразмыслить. А то ведь дома думается как-то не так. Что-нибудь да мешает. А ведь детей нет. Одна жена.

Так уж случилось, что детей у них никогда не было. Как у короля и королевы в сказке. Правда, брали одного из детдома по окончании войны, воспитывали, и он уже носил фамилию Смирнова, да вскоре нашлась мать, и стал он опять Кочедыгиным... Что уж теперь о нем говорить. Отслужил в армии, забывает, редко пишет. Ну, да что там!.. А второго взять жена не согласилась. Сказала, что всю себя вложила в воспитание этого Кочедыгина, и вдруг такая неожиданность: нашлась мать!..

— Надо радоваться за мальчишку! — пробовал возразить ей Смирнов, однако жена махала на него руками, говоря, чтоб он не вздумал брать второго.

Так и живут одни, радуются другим семьям. К примеру, замполитовской, что по соседству, за стенкой. Ребятишек у замполита на редкость много для военного: пятеро. И ничего. Опрокинул он «норму в одного-два ребенка», столь распространенную теперь у офицеров, считающих, что при постоянных переездах с места на место многосемейность — большая обуза.

Забегают замполитовские ребятишки к Смирновым, берет полковник грех на душу, прячет иногда от излишней материнской затрещины, а все ж, как только вечер, ночевать ушмыгнут домой...

Незачем подниматься бы так рано. Сегодня день для него особенный. Вчера поздно он прилетел из округа, где ему вручили орден. Заслуга отмечена давняя, еще времен начала войны. А вот разыскали, вызвали, вручили.

Дело тогда было, сказать правду, не такое уж значительное. Заключалось, если говорить просто, без эпизодов и картинок, в том, что, будучи младшим лейтенантом, он сколотил из отступавших разрозненных бойцов роту, да и выбил противника из деревеньки, хоть удержать ее не удержал, оставил, потеряв несколько человек. А одной какой-то жительнице удалось спрятать у себя раненого бойца. Он-то и сообщил ей, что в бою погиб командир: мол, точно, сам видел. Когда, говорит, придет время ставить на братской могиле памятник, не забыть бы, что звали командира Сергеем Александровичем Смирновым, а был он младший лейтенант.

— Что-то надо делать, — сказали в округе полковнику Смирнову. — На обелиске ваше имя. Может, поехать, разобраться на месте. Сами понимаете... И только вы один упомянуты, а остальные — числом. Не помните ль кого?

— Давненько, давненько было... — ответил Смирнов и потер виски. — Одно-двух припомню. И то... — он пожал плечами. — А жительница эта, она там?

— К сожалению, ее уж нет...

— А тот раненый боец? А он? Где он сейчас?

— Неизвестно.

— Так, так... — проговорил Смирнов. — Значит, советуете поехать. А зачем? Надо ли? Что я там скажу людям, что мне там надо будет сделать? Попросить забыть мое имя на обелиске? Нет, — качнул головой Смирнов, — неловко, — он глубоко вздохнул. — Неловко перед живыми и перед погибшими.

— Как хотите. Просто советуем. Но жить и одно временно считаться погребенным?! Вы подумайте...

Смирнов попрощался и тихо сказал:

— Я съезжу. Но только ради того, чтобы на обелиске поставили имена бойцов, фамилии которых непременно вспомню. Возьму списки полка, просмотрю, и, надеюсь, это мне поможет вспомнить. Фамилии у них были распространенные, русские. Что же касается моей собственной на обелиске, то пусть останется. Считаю за честь.

...Вот и шел полковник в штаб просмотреть списки. Сейчас он полистает их, и если не две фамилии сразу, то уж одна-то все-таки всплывет в памяти. А может, сама попадется. Случалось прибегать к такому методу. Полк-то, он вон какой! Сколько в нем людей! Каких только фамилий не встретишь! И всякий год обновляется. А как ни обновляется, фамилии-то все ж повторяются. Все время как бы один и тот же фамильный состав. Взять хотя бы офицерский, не говоря уж о солдатском. Вот года два назад в первом батальоне был зампотех Саркисян. Послан на учебу. Год не было в полку Саркисянов даже среди солдат, а появилась же фамилия опять! Только и разница, что в другом батальоне. И в том еще, что теперь она у механика-водителя.

Да, не однажды командир полка требовал списки, записываясь с ними в кабинете, и никто из штабных не догадывался, зачем они ему вдруг так срочно понадобились, зачем он берет их на просмотр.

Это очень озадачило штабного офицера и его писарей, рождая у них различные предположения, предчувствие какой-то огромной работы, которая должна вот-вот свалиться им на голову, и в подразделения просачивался слухок о досрочном увольнении в запас очередного возраста или предстоящем большом учении.

Никому и на ум не могло прийти, что командир

полка, просматривая списки, погружается в воспоминания о былых товарищах-однополчанах.

Он пришел в штаб и принял рапорт дежурного, уже кем-то предупрежденного о том, что на аллейке показался командир полка и напрямиком направляется к штабу.

«А-а... да это новенький лейтенант из первого батальона, — подумал он, рассматривая в упор дежурного и отмечая, как у него несколько неестественно, с надрывом и курсантским старанием, впервые, должно быть, на новом месте звучит рапорт. — Да. Конечно. Новенький».

Полковник, приняв рапорт, распорядился вызвать штабного офицера, когда тот придет на службу, и направился на второй этаж, в кабинет, но, поднявшись на несколько ступенек, остановился, подумал, глядя под ноги, обернулся и сказал:

— Так вы тоже Смирнов. Зайдемте ко мне.

Пока поднимались по лестнице и шли коридором, пока полковник вынимал ключ и вставлял в замочную скважину, оба молчали. Но вот командир полка сел за стол, а лейтенанта усадил напротив себя.

— А имя, отчество?

— Сергей Александрович.

— Вот как?! — удивленно произнес командир полка, думая, почему же раньше-то, когда лейтенант прибыл в полк и представлялся ему, он пропустил мимо ушей такое совпадение.

Сейчас он пристально разглядывал юношески худощавое лицо лейтенанта, светлые, почти бесцветные волосы, тонкую, как у подростка, шею, свободный воротничок зеленой гимнастерки и никак не мог отделаться от привязавшейся мысли о травинке, которая долгое время находилась под камнем, поблек-

ла, но обязательно поднимется, выпрямится под солнечными лучами, да еще, гляди, какой будет!

— Значит, не только фамилия, а даже имя, отчество сходны, — продолжал полковник. — Значит, и зовут, как меня! Офицеры, вероятно, подшучивают?

— Зовут полковником, — смутился лейтенант.

— Ну что ж, полковником вы будете. Послужите с мое и будете. Вам до моего возраста ого-го!.. Еще раздобреете, вот, как я, — и командир полка похлопал себя по бокам. — Не раз замечал, такие, как вы, когда молоды — как былинки. А потом — во! — развел он руки. — Отец-то у вас, видно, крупный, если судить по вашему росту.

— Не могу знать, товарищ полковник, никогда не видал. Да и матери.

— Война?

— Война, — кивнул лейтенант. — Так и вырос.

— Как это «так и вырос»?! Кто-то все-таки растил. Страна.

— В общем-то, да.

— А кто же еще?

— Да женщина одна. Тетя Клаша. Ее уже нет. Так что я, как говорится, совсем круглый...

На залитых солнцем столе и руке командира затрепетало пятнышко. Оба разом взглянули на окно. Пятнышко оказалось тенью ласточки, хлопотавшей у гнезда под карнизом.

— С гнездом прощается. Улетает, — сказал полковник.

— Так точно, товарищ полковник, пора, — подтвердил лейтенант, соображая, что бы еще добавить.

— Знаете, сколько ни наблюдаю, а никак не удается засесть день отлета. Никак! И прилета то-



же, — продолжал полковник. — Даже в энциклопедию глядел: нету.

— Трудно, — согласился лейтенант.

— Вот именно. Не удастся, да и все! Вдруг увидишь касаток, а когда прилетели? Сегодня утром? Вчера ли вечером? Иль третьего дня? Когда? И улетят — не заметишь.

— Ну это еще можно, — сказал лейтенант, подумав. — В деревне отлет замечен. В омшанике приутихнет — значит, улетела постоялка.

— В деревне — не спору.

«Зачем он меня позвал? — спрашивал себя лейтенант. — Не насчет же ласточек. И не думает отпустить. А я про них больше ничего не знаю... А вот, если сказать ему, какой я есть Смирнов!»

Но командир полка и сам подвел к тому.

— Значит, в деревне вашей Смирновых — пруд пруди, — вдруг проговорил он, поднимаясь и выходя из-за стола.

— Не сказать. Ни одного, — ответил лейтенант.

— Ну что вы мне говорите?.. Как же так? В деревне такого не бывает. Из дальних, что ль, отец-то был? Примак?.. Ну, неважно. Не суть дела... А помощника начальника штаба все-таки пригласите.

— Разрешите досказать, товарищ полковник. Грудным я подобран возле матери... Ее при бомбежке... Подобрать подобрали, а как звать — неизвестно. Я и получил имя младшего лейтенанта Смирнова Сергея Александровича, похороненного в братской могиле за селом. Все тетя Клаша. Сперва просто Сергеем у нее был в его честь, а потом, когда дело коснулось школы, ей подсказали в сельсовете списать на меня имя младшего лейтенанта целиком.

Командир полка ни одним движением не выдал,

как застучало у него сердце. Напротив, спокойно выслушал лейтенанта и, словно не придав значения его словам, подергал бровь и, оттянув веко, попросил взглянуть, не попало ли чего в глаз. А то режет. Может, соринка?

— Ничего нет, товарищ полковник, — заглянув в глаза командиру, сказал лейтенант. — Вам бы в медпункт.

— А что там, какой еще медпункт! Пустяки, — отмахнулся полковник и снова подергал бровь.

— Вы вот что, — стараясь не смотреть на лейтенанта, сказал он, — помначштаба не вызывайте. Боюсь, не работник я сегодня, — и он показал на глаз. — Идите.

— Есть! — громковато, как опять заметил полковник, отчеканил лейтенант и уж был у дверей, когда командир полка остановил его:

— Погодите! Вы сказали, за селом братская могила, а на ней обелиск. И число похороненных указано?

— Двенадцать, товарищ полковник. Фамилий нет. Писал я в инстанции, но ничего точного не сообщили. А за могилой следил.

— Похвально. Ну сообщат, сообщат еще, — тихо заключил командир полка. — Идите.

Он долго сидел за столом, подперев кулаком седеющую голову. Вокруг штаба все ожило, захлопали двери, промаршировал под окнами строй, в открытую форточку донесся запах гречневой каши и громкое чириканье воробьев.

Полковник поднялся, вышел из штаба и пошел домой, окончательно поняв, что ни за какое дело сейчас взяться не сможет... Он придет домой и обо всем расскажет жене. Вот тебе, скажет он ей, и «жили-

были король с королевой и не было у них детей!»  
Вот тебе и «жили-были»! И все-то, черт возьми,  
всегда, как в сказке на нашей русской земле! Все  
всегда, как в сказке!..

Он шел тополевой аллеюй. Над ним в голубом  
августовском небе вкривь, вкось, ввысь, вниз стре-  
мительно кружились ласточки.

— Р-русь! — тысячеголосо раздавался их радост-  
ный клич. — Р-ру-усть!..

«И тогда тоже... И тогда над деревней...» — вспом-  
нилось полковнику.

Он оперся о тополь, и одна из касаток пронеслась  
совсем низко и как-то подчеркнуто пронзительно,  
словно для того, чтобы ее поняли перед отлетом в  
дальние края, прокричала:

— Р-русь!.. Р-русь!..

## В ОСОБНЯКЕ

Вишневые сады над рекой Шпрее цвели буйно. Белая кипень цветения была непривычна для глаз, привыкших видеть картины войны. Сквозь железные решетки оград из палисадников рвались на улицу молодые побеги акаций и сирени. От калиток к роскошным особнякам вели асфальтированные дорожки, только что вымытые майским дождем и просыхавшие под легким ветерком. На эмалированных табличках — имена владельцев, которых сейчас в особняках уже не было: хозяева бежали.

Штаб танковой бригады временно расквартировался в этом утопавшем в цветенье садов берлинском предместье, а личный состав и техника сосредоточились в моллоте лесочке за Шпрее. Оттуда, из-за реки, слы-



шались голоса танкистов, пиликанье трофейного аккордеона, тянуло дымком походных кухонь. А тут была тишина, почти безмолвие, если не считать шагов проходившего офицера или ординарца, громко оброченной фразы, хлопнувшей калитки. Тут было так тихо, что слух улавливал перепархивание красногрудых малиновок в кустах крыжовника, полет пчелы в улей, падение капли из водопроводного крана в саду.

Солдат комендантского взвода Шишигин, двадцатитрехлетний худощавый парень, не блондин, не шатен, а какой-то серый или даже сивый, спал на террасе, развалясь в плетеном шезлонге. Сапоги и портянки его валялись на ступеньках, пилотка свалилась с откинутой головы. Босые ноги с рыжеватыми волосами повыше щиколоток были вытянуты и неподвижны. Лишь изредка во сне он пошевеливал пальцами.

— Шишигин!.. А Шишигин!.. — негромко позвал голос со стороны соседнего особняка.

Ответа не было.

На террасе тишина, солнечно и душно. Разомлевший Шишигин продолжал спать. Хлопотным был день. Переезжали из Бисдорфа, грузили на машины трофейные ящики с консервами и всякое другое, с чем не в характере интендантов расставаться, и они мобилизовали чуть ли не всю роту управления. Шишигин наломался и теперь отдыхал, благо, командир роты, у которого он был ординарцем, отсутствовал. Когда вернется, неизвестно. Да и придет-то, наверно, не голодным, это факт. Постель ему приготовлена. На кровати орехового дерева Шишигин расстелил хрустящую накрахмаленную простыню, которую взял из укладки. Проспит командир роты до

утра, и все будет в порядке, летят утки, летят гуси!— рассудил Шишигин, когда устраивался в шезлонге.

Эту присказку он подцепил под Лодзью зимой. Один лейтенант, прибывший тогда в бригаду из глубокого тыла и еще не нюхавший пороху, с места в карьер закрутил с молоденькой полькой. Потом, видно, спохватился, испугался, однако хорохорился и повторял: «Ничего мне не будет! Летят утки, летят гуси!..»

Шишигину очень понравилась присказка. Она подходила буквально для всех случаев жизни. А теперь, когда все уж позади, и он в логове врага целехонек, и не за горами тот день, когда покатит домой в товарнике с раскрытыми дверьми, она, казалось, была особенно к месту.

Вот так, вопреки песне «Пришла весна, солдатам стало не до сна», Шишигин — натура хилая и хитрая — похрапывал себе на террасе эсэсовского особняка, и единственная, недавно полученная медаль «За боевые заслуги» сияла на его груди в лучах заходящего солнца.

Он просыпался неохотно: сон недосмотрел. Видел, будто дома, в речушке ловит пескарей и жарит их тут же на берегу на сковородке.

— А-а... черт! — огляделся он по сторонам, потянувшись, встал с шезлонга, потоптался на месте, ощутив ступнями тепло нагретого солнцем крашеного пола террасы. Потом медленно прошел в комнаты и начал бродить из одной в другую, разглядывая на стенах олени рога, картины в тяжелых рамах, хрусталь в горке, шторы, ряды книг в шкафах. Дотронулся до кабаньей головы над дверью и постучал пальцем по затвердевшему пятаку. Выдвинул ящик письменного стола, взял из аккуратной стопки листок

писчей бумаги, сел за письмо к матери, но передумал — успеется.

В комнатах было прохладно. Шишигин двинулся на кухню, попробовал, есть ли вода, повернул краник газовой плиты и прислушался. Несколько раз щелкнул выключателем. Не было ни газа, ни света. Поглядев на валявшийся вещмешок, Шишигин подумал, что не мешало бы приготовить чего-нибудь горячего — ведь сколько уж дней он на трофейной сухомятке! — да картошки нет, луку нет, а то б славно вышло, не то что с кухни.

Вынув из вещмешка зеленоватую, узкую, похожую на шуку бутылку рислинга, он поставил на стол, погрозив ей пальцем, сказал: «Жди своего часа!» и вернулся на террасу. У него было так хорошо на душе, так спокойно. В общем-то вся забота сводилась только к тому, где б раздобыть немного картошки и луку. Идти за Шпрее к повару роты управления не хотелось. В Шпрее, он видел, плавает кверху спиной труп немца, разбухший, в мундире рачьего цвета. Сразу аппетит пропадет, и мысли дадут обратный ход туда, в те недавние дни, когда и сам он, Шишигин, мог окунуться в волны Днепра, Вислы или Одера да так и не выйти на бережок. И разных других поводов стать покойником было предостаточно.

«Нет, не такой он дурак, потому и жив! — подумал о себе в третьем лице Шишигин и подмигнул какому-то средневековому рыцарю на гравюре. — Хе-хе! Уметь надо!.. Вот он, я. А это что?.. И это имеется, — потрогал он медаль и, поплевав на пальцы, потер ее. — И без ордена можно! «Согласен на медаль». Ну и ловок же ты, Шишигин: прошел войну, ни пули, ни осколка не словил, за колючую прово-

локу не зацепился, даже не оцарапался. А война знаешь какая была? Во! — поднес он кулак под нос рыцарю. — Позабыл бы своих фрау. Покойнички требовались! Нам — немецких побольше, а немцам — советских!..»

С минуту Шишигин стоял в раздумье. Слово «покойник» совсем не подходило к тем, кто погиб. Он старался вспомнить, слышал ли когда, чтобы погибшего в бою назвали покойником, не припомнил и решил, что это совершенно неподходящее на войне слово. «Ну, как там ни рассуждай, а я-то жив-здоров. Вон и рислинг на столе, а то и покрепче чего можно поставить!..» — заключил он и покачался в шезлонге, наблюдая, как в вечернем небе медленно плывет транспортный самолет. Было Шишигину приятно и вместе с тем так непривычно видеть его спокойный полет и радоваться за летчика, которому уже нечего и некого бояться, немного завидовать и ему, и самолету, что летят они на Родину, скоро коснутся родной земли.

— Фоменка-а!.. — встал и громко позвал Шишигин, выглянув из двери в сторону соседнего сада, откуда раздавалась тихая украинская песня.

— Эге! — услышалось в ответ.

— У тебя маленько луком и картошкой не разживусь?

— Что я, ишак, таскать их!..

Ординарец начальника штаба бригады Фоменко находился где-то за деревьями. По обыкновению, должно быть, читал учебник «Автомобиль», раздобытый еще на нашей территории и проследовавший вместе с ним сюда, в Берлин. Песни, между прочим, не мешали ему усваивать работу свечей и тормозов.

— Вместо тюльпанов хрицы огородины бы наса-



жали, правда, Шишигин? — немного погодя, крикнул он. — Не сообразили, что явимся, а закусить нечем. Пойдешь на футбол?

— На какой футбол?

— Да разведчики с первым батальоном играют. — Очумели, что ль? — хихикнул Шишигин. — Не успели с Бёрлином кончить — и уж за футбол. — Шишигин произносил не Берлин а Бёрлин.

— А я, может, пойду. Пойдем! Кстати, вон там на краю немка одна осталась, у нее и спросишь лучку.

— Молодая?

— Все они тонкие, не поймешь. Злая, хвашистка... — выругался Фоменко. — До нее было Харитоша-почтальон, а она ему на голову ведро. Уж показал бы ей Харитоша, да начхим мимо проходил.

— А ну, где такая, поглядеть?

— Да в крайнем. Хозяева, говорит, вег-вег, а она кухаркой вроде у них работала. Ни слова по-нашенски.

— Пошли, — согласился Шишигин взглянуть на фрау, посмотрел на свои босые ноги, вспомнил, что в коридорчике попадались шлепанцы сбежавшего эсесовца, пошел, надел их и зашаркал к Фоменко.

Минут десять спустя тот привел средних лет немку в аккуратно подвязанном передничке. Шишигину понравилось, что она оказалась понятливой, несмотря на полное незнание русского языка и тотчас же сообразила, чего от нее хотят, когда он куснул собственный кулак и показал, как ему сразу будто бы стало так горько, что из глаз побежали слезы.

Лук у нее нашелся, нашлось немного и картошки. Она принесла их в крошечной корзиночке, такой чистенькой и красивой, как у цветочницы.

— Ну вот, значит, готовь, — сказал Шишигин. — Баба все-таки. У баб лучше получается, — и пропустил ее вперед себя на кухню. — Суп. Поняла? Суп! На тебе тушенку, готовь. А может, выпить хочешь? Не бойся, говори.

Немка что-то быстро проговорила.

— Да брось ты! — махнул рукой Шишигин, пошел в гостиную и вынес стакан рислинга.

— О-ля-ля! — ужаснулась немка, прижав к щеке ладонь.

— А я желтенького. — Шишигин налил себе коньяку и браво выпил. — Ну, давай, давай, принимайся, а я покачаюсь.

Шезлонг тихо поскрипывал под ним, а немка на кухне позванивала посудой и шуровала кочережкой брикет в плите.

— Фрау! Знаешь, какой я счастливый! Вот у нас, по-русски говорится, счастье... А в руки его не возьмешь. Ферштейн? Эх, ничего ты не петришь, а то б я те рассказал, как воевать надо. Ферштейн?

Последний луч солнца переместился с террасы на крышу. Утихли птицы в саду. Со Шпрее потянуло сыростью. Совсем близкими стали казаться удары по мячу на том берегу, гул солдатских голосов, напев аккордеона. Долетела чья-то фраза: «Петухов! Петухов!.. Бей сразу голы по Бранденбургским воротам, чего смотришь!..» Коньяк горячил Шишигина, обычно скрытного, когда трезвый, но пускавшего в рассказни после первой же рюмки, как это часто бывает у людей, которые себе на уме, или с неважнецкими мастеровыми, склонными хвастаться, какие они умельцы. Это шло у него сейчас от ощущения полного счастья, что остался жив. А ведь многие, очень многие, с кем он бок о бок воевал, погибли. И теперь

чудесный вечер, солнце, цветы, пение птиц, человеческая речь и весь этот неясный весенний ласковый шум, заменивший грохот войны, был не для них.

Шишигин окончательно размяк. Ему хотелось говорить и говорить. Но при условии, что его кто-то слушает. Ему казалось, что он красиво говорит о жизни и о себе и что понятие жизнь и он — едино. И что он не такой уж простачок, каким его считают. Он — хитрец. Ой, какой же он хитрец! Понимаете, жив!.. Никто не знает, чего стоило ему остаться в живых и вот теперь покачиваться в полудреме.

— Фрау! — подвинулся он вместе с шезлонгом поближе к двери. Но когда немка выглянула, отвернулся. — Ни черта ты не поймешь, фрау!.. А интересно, как по-твоemu, что лучше: жить или в земле лежать? — И, закрыв глаза, с полминуты молча покачивался. Веки у него подрагивали точь-в-точь, как у спящего, который видит прекрасный сон. —

И с тоской немо-ою  
Вслед ему глядели  
Черные ресницы,  
Черные глаза...

— пропел он гнусаво.

— Ну как, ничего, правда? Если б не эта песенка, лежать бы мне сейчас под Ковелем. Ты, фрау, представь такую картину. Месяц стоит бригада в лесу прифронтовом на формировании, второй пошел: танки ждем. Джазец организовали, летнюю сцену построили. И вот я, я, у которого сама слышишь, не такой чтоб уж голос, пожалуйста, — я солист-артист.

*И с тоской немо-ою...*

Мне, понимаешь, важно было как-нибудь из мотобатальона автоматчиков в роту управления перевестись. Мотобатальон — это что? Это танкодезанти-

ки. Это верное не то. Первая пуля, первый осколок— твои. Правильно я говорю?.. Правильно. Перевели. Как? Для чего? Навстречу удобству организации художественной самодеятельности. Голосишко какой-никакой есть, сыграл свою роль... Да и не нужен он был в нашем джазе. Душа нужна. Чтоб с душой получалось.

Немка выглянула из кухни в коридорчик, поискала что-то и мельком взглянула на Шишигина.

— Тебе чего? Что ищешь? Все на кухне! — недовольно проговорил он и, откинув голову на плетеную спинку шезлонга, продолжал:

— Написали бы теперь в личном деле: «Пал смертью храбрых», ферштейн? Не под Ковелем, так под Бёрлином, в самом вашем логове, фрау. Да я б еще подо Ржевом, не обморозь себе пальцы... — подумав, добавил Шишигин. — Знаешь, как это делается? Вот помочишь пальцы, поддержишь на морозяке, потрясешь на ветерке — и готово!

Теперь далее. Далее я в медсанбате воевал. Правда, не так уж сладко, но живется сытно и более-менее ничего, спокойно. Там время не терял, практиковался по парикмахерству. Лежал у нас один дурак, все прикидывался, будто секретное оружие изобрел, требовал отправить его на доклад в Ставку Верховного Командования. Блажил, конечно. А сам парикмахер, у-у!... Московский. Я за две недели кое-что перенял, пока его не передали по психической линии, а может, еще по какой. В общем, не обморозятся я тогда подо Ржевом, быть бы мне «смертью храбрых».

А уж после, под Харьковом, меня взяли вот сюда, в танковую бригаду. И брил я весь штаб. И все бы отлично, уж под Ровно остановились, да смолот чепуху, фрау, хлебнул лишнего и поволокло меня в село

жениться. Понимаешь, нашлась одна. Только документ потребовала. А что я, глупый? Схлопотал у писаря вещаттестат и предъявил. Такой-то, мол. Сапог кирзовых — пара; шаровары — одни; фуфайка — одна; портянок — две пары! И так далее. Вот за что меня в мотобатальон сунули. Но я там опять недолго. И-эх! — с хрустом потянулся Шишигин, — ничего ты, фрау, не петришь. Ты вот, — постучал он себя по лбу, но, посмотрев на нее, испугался. Немка плакала, как плачут сильные женщины: тихо, как-то в себя, внутрь, стыдясь слез.

— Чего реवेशь? — заорал он на нее. — Мана своего жалко? Бёрлина жалко? Свет не мил, да?

Немка вытерла глаза передником и вновь принялась за дело.

— А ну тебя к ч-черту! — ругнулся Шишигин, вскакивая и отшвыривая шезлонг. — Сейчас каждый радуется, что жив, ферштейн? Опять не ферштейн?.. Иди ты к ч-черту!

Он побрел в комнаты, походил там и снова появился в коридорчике.

— А это куда дверь? Ну-ка, глянем.

Заскрипели ступеньки узкой деревянной лестницы, крутой, разошедшейся, и скоро он очутился на чердаке. Сделал несколько шагов, огляделся и вдруг попятился, ища рукой позади себя на что опереться и раскрыв рот, чтобы закричать. В углу, куда через слуховое окно падал луч, сидел эсэсовский офицер и держал в руке вороненый вальтер. Казалось, мгновение отделяет от того момента, когда он наведет пистолет и выстрелит в упор. Шишигин сделал еще шаг назад и распластался за бором печной трубы. Однако выстрела не последовало, эсэсовец не шевельнулся, но по-прежнему сжимал в руке пистолет.

И поняв, наконец, что перед ним всего-навсего труп, Шишигин выглянул из-за трубы. Все еще не веря, что ему абсолютно ничего не грозит, он инстинктивно пригнулся, когда мимо слухового окна мелькнула ласточка и послышался ее щебет.

Жалобно жужжала муха в паутине.

— А... а, гад! — срывающимся голосом протянул Шишигин, приблизился к трупу и пинком ткнул его.

Френч на эсэсовце был расстегнут. Самоубийца стрелял в сердце. Смерть, видимо, наступила мгновенно, и он остался сидеть, судорожно сжимая в руке пистолет.

— А-а, гад, сдать боялся! — уже громче и тверже повторил Шишигин, несколько даже сожалея, что враг неживой. Ведь могло случиться, и с пистолетом сдался бы. Тогда б он повел его по улице вот так, как есть, в шлепанцах, и все кругом дивились бы тому, как это удалось обезоружить такого, а самому остаться невредимым. Шишигин, как и большинство людей, был склонен после минувшей растерянности представлять себя находчивым и удачливым, и где-то в глубине души его шевельнулась досада, что получилось не так.

— Фрау! — крикнул он вниз. — Ком сюда?

Когда немка поднялась на чердак, Шишигин наклонился над трупом, чтобы вынуть из окостеневших пальцев пистолет. Но едва он дотронулся до руки мертвеца, палец, оставленный на крючке в предсмертной судороге, нажал на него, и грохнул выстрел, после которого Шишигин уже не услышал истошного крика немки, не увидел, как за слуховым окошком метнулась ласточка. Он схватился за живот и под оставившимся омертвелым взглядом эсэсовца тяжело рухнул.

Немка бросилась к люку, но потом широко распахнула слуховое окошко и пронзительно закричала в сгустившиеся сумерки над садами, над Шпрее, над поляной на том берегу, где мирно бухал футбольный мяч и пиливал аккордеон. И почти тотчас захлопали калитки, загрохотали сапоги по асфальтированной садовой дорожке, и появились несколько человек, которые, запрокинув головы, стали смотреть кверху на слуховое окошко, где размахивала руками женщина.

— Это какой же дурак тебя туда затащил? Внизу, что ль, мало места... — засмеялся кто-то.

Немка бросилась к Шишигину, подняла у него гимнастерку: на животе кроваво зияла рана. Он был мертв.

— Шишигин! — стиснула она ладонями голову солдата. — Ну что ты, Шишигин!.. Ну ладно, слышишь, ладно!.. Как ни воевал, а все же воевал, слышишь, Шишигин!..

Она говорила по-русски, но слова заглушались скрипом ступенек, громким говором поднимавшихся людей, и никто не слышал их. Скоро на чердаке скопилось столько народу, что не протолкнешься. Все говорили, перебивая друг друга, оттесняли немку от Шишигина, грозили ей, кляли, глядели на нее с любопытством и ненавистью. Никто не верил ни единому ее слову. А она все лопотала и лопотала по своему майору особого отдела, за которым уже успели сбежать. Все казалось придуманным ею, и пока никто не хотел ни в чем разбираться: казнили нашего, чего может быть ясней!.. Но и Шишигин молодец, не растерялся, убил эсэсовца. Только вот из чего? Где пистолет?.. Или из автомата?.. А где автомат? И кто его-то, Шишигина-то?.. Неужели немка?! Ну, а из чего?.. Ладно, разберутся.





По приказанию майора ее повели в штаб. Немка шла медленно, молча и не опускала глаз, когда навстречу попадались танкисты. Они прослышали о происшествии в особняке и теперь спешили разузнать подробности. Во взгляде ее серых глаз не было ни растерянности, ни страха, а теплилась грусть, что-то глубоко затаенное, печальное, невысказанное, однако готовое вырваться наружу.

Возле особняка, где она жила, майор остановился и вошел в него, чтобы сделать обыск. Она присела на садовую скамейку и спокойно глядела на особняк, в котором провела много дней прислужгой в семье видного эсэсовца. Устало смотрела на танкистов, обступивших ее и готовых покончить с ней за смерть товарища. Улица была заполнена ими, и к запаху цветов и молодой листвы примешивался запах солярыки и масел, которыми были пропитаны комбинезоны, запах пота и махорки. Толпа, окружившая ее со всех сторон, гудела, и ординарец начальника штаба Фоменко, конвоировавший немку, успокаивал напивавших. Он опасался, как бы не приложили рук, и в то же время ему было не по себе оттого, что ограждает убийцу.

— Ребята, ну что орать! Чего орать!.. Она все равно ни бум-бум, — повторял он.

А тем временем к толпе подскочил на мотоцикле ординарец майора и, орудуя локтями, начал пробиваться к Фоменко.

— Где майор? — спрашивал он, приподнимаясь на цыпочки, так и застряв на полпути.

— Квартиру обыскивает, — ответили ему.

Он вбежал в особняк и через минуту-другую вышел вместе с майором, который тут же сел в коляску мотоцикла.

— Ведите в штаб, что же вы? — распорядился он. — А вы, друзья, расходитесь. Все будет выяснено. — Мотоцикл рванул, и майор спросил ординарца: — Говоришь, из фронта полковник? Какой полковник? По какому делу?.. А черт бы побрал это ЧП, — и майор зло сплюнул на сторону. — И зачем я немку приказал вести в штаб, не знаешь? Ты вот что, довезешь меня и дуй обратно, скажи, пусть не приво-  
дят. Потом. Понятно?

Полковник из штаба фронта был мал ростом. Впалые, не очень чисто выбритые щеки и утомленные, по-видимому, ночной работой глаза. Он вяло посмотрел на майора. Назвав себя, протянул руку.

— Ну вот. Я тот самый, кто не дает вам покоя, — и показал удостоверение.

Майор не нашелся, что ответить. Он стоял перед своим фронтовым начальником, которого знал только по подписи на секретных бумагах, а представлял только со слов других. Обязанный немедленно доложить о происшествии, он доложил.

— Я знаю, — кивнул полковник. — Дежурный по части при мне докладывал командиру бригады. Да, случай печальный. Провоевать всю войну и, нате-подите, погибнуть нелепо. — Он покачал головой. — А как это произошло?

Майор кратко высказал свое предположение о том, что в убийстве солдата Шишигина виновата немка.

Полковник подумал и сказал:

— Доставьте ее сюда...

— Слушаюсь!

— А через часок явитесь! Да, а тут у вас что? — открыл дверь в соседнюю комнату полковник и перенес туда свой чемодан. — Как фамилия этой нем-

ки? — спросил он уже из той комнаты. — Не Кеттер?.. Вы не узнали, как ее фамилия, а? Вы должны были узнать.

Полковнику пришлось ждать недолго. Фоменко ввел немку и вышел в прихожую, откуда вдруг явственно услышал, как немка, задыхаясь, воскликнула:

— Петр?! Здравствуй, родной!..

Сначала Фоменко не поверил своим ушам. Нет, все было правильно, он не ослышался, разговор продолжался по-русски. И разговаривали, как он определил, муж с женой после долгой разлуки. Разговаривали, как разговаривал бы и он сам, Фоменко, со своей Ксаной, доведись им сейчас встретиться. А разговор то затихал, то вновь начинался, пока в открывшейся в прихожую двери не появилась женщина в форме армейского офицера с полевыми капитанскими погонами, та самая, которую он только что конвоировал.

— Товарищ Фоменко, — мягко сказала она, заправляя под пилотку светлый волнистый локон, — во-первых, не удивляйтесь. А, во-вторых, сядьте и припомните, кто остался у Шишигина. Мать? Семья?

— Одна мать, товарищ капитан, — едва придя в себя, проговорил задыхаясь Фоменко. — А больше никого. Это я точно знаю. Он сам мне говорил. Говорил, одна мать...

— Ах, какой же нелепый случай, какой нелепый! — между тем повторяла она. — Мертвец убил живого.

— Живого? — едва слышно переспросил полковник. — Нет, Елена, он убил труса. Трус всегда покойник.

Наступило молчание. Из-за Шпрее все еще доно-

сились звуки аккордеона. Вечерний прохладный ветерок наполнял шелковые шторы на окнах. Улица, скрытая цветущими вишнями, временами озарялась фарами автомашин, и деревья перемещались, менялись местами, и то росли прямо на глазах до гигантских размеров, то вдруг становились карликовыми.

— Пойдите позовите майора, мы уезжаем, — сказал ординарцу полковник и подошел к окну, окликнул шофера.

— Мы уезжаем, майор, — вышел полковник на встречу майору. — Познакомьтесь заново. Это моя супруга, капитан Северова.

— Простите, — улыбнулась Северова, — я не могла вам представиться раньше. Была фрау Кеттер, как была ею в Берлине всю войну. А что касается подробностей сегодняшнего случая, то прошу вас прибыть завтра в штаб фронта. До свидания. Да, — повела она рукой по лбу и, взяв майора под локоть, прошла с ним по комнате, глядя себе под ноги. — Я попрошу вас об одной вещи. Когда будут отсылать похоронную матери Шишигина, то прошу вас, пожалуйста... прошу вас, пусть напишут «смертью храбрых». По-моему, сделать так можно, — и она подняла глаза на мужа, ожидая, что он на это скажет. — По-моему, ничего плохого в этом не будет, как ты думаешь, Петр?

Полковник стоял вполоборота к майору. Лица его не было видно.

— Ты — женщина, сама мать, может быть, тебе видней, — ответил он немного погодя. — Ну, майор, стало быть, договорились. Завтра будете у нас, а сейчас мы едем. Вообще-то с похоронной не торопитесь. Обо всем поговорим завтра.

## ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР



В далекий степной гарнизон, где по утрам и вечерам кажется, что до солнца рукой подать, а ветры дуют беспрерывно — осенью, зимой, весной и летом, — старший лейтенант Степанов привез из Москвы жену Свету. Первое время они квартировали в деревне и за стенкой у них почесывалась свинья и горланил петух. А на днях Степановым дали комнату, и сегодня они справят новоселье. Но вот посуды, ножей, вилок, стульев у Степановых пока нет, их, по-видимому, придется попросить на время у соседки по квартире — добрейшей души, рассудительной и разговорчивой жены подполковника Самарина, Серафимы Петровны.

Серафима Петровна

догадалась об этом сама. Она обладает особенностью первой заводить разговор, причем начинает с вопроса. И вопрос задает не просто так, а чтобы выяснить, не нуждается ли в чем человек. Она вообще уверена, что каждый нуждается, и посуду, вилки, ножи, стулья предложила сама.

По оконному стеклу шуршит последняя мартовская метель, за окном ни зги не видно, а на кухне, где хлопочут Света и Серафима Петровна, тепло и уютно. Нет-нет да и треснет в плите антрацит и зашипит плеснувший из дудочки чайника кипяток.

За те несколько дней, которые прожиты Степановыми в квартире, Серафима Петровна узнала у Светы почти все, что нужно было знать. Только вот упустила спросить, где ее родители и какая у нее специальность. А это немаловажно.

Антрацит потрескивает, чайник кипит. Дородная Серафима Петровна подсаживается к столу, ставит против себя вторую табуретку и предлагает сесть Свете.

— Ну-с, — говорит она, готовая слушать, — выкладывайте, где мама, где папа. Вы из Москвы?

Света обмахивает табуретку полой халатика и садится на краешек. Она тоненькая, хрупкая. Цветастый халатик широк, и ее бледные тонкие пальцы в раструбах рукавов кажутся пестиками. Голос у нее певучий, московский. Света рассказывает, что Степанов, как только познакомился с ней, тотчас же снял ее с работы в метро, где она дежурила возле эскалатора за никелированными поручнями. Говорит, что теперь у нее перестала кружиться голова. А бывало-то, бывало!.. Какие только лица не промелькнули! А мод!.. Прически, например! Сколько людей проходило перед ее глазами, но редко-редко попадались

знакомые. Порой ей думалось, что в этом бесконечном потоке она очень и очень одинока и никому не нужна. Сколько спустятся, сколько поднимутся, а никто ее не знает, и она никого. И уставала, хоть ничего не делала, а только стояла, опершись спиной о поручни. Это первое время она воображала, что каждый мужчина, взглянув, обязательно должен был что-то подумать о ней. Пусть мгновение, но подумать. И что-то такое о внешности, а может, о работе или еще о чем-нибудь... Может, познакомиться не релся.

Но потом прошло. Только глаза слипались и клоило ко сну.

— А здесь степь, простор, небо и солнце! — говорит Света. — Вы знаете, Серафима Петровна, я до того привыкла к метро, что стала думать, будто солнце вообще как бы необязательно. Можно и без него. В Москве сама Москва главное, а не солнце. И обходилась.

— То-то бледненькая, — отвечает Самарина и внимательно слушает про какого-то старика Мовзона, который и сейчас продает лотерейные билеты в метро, сидит на раскладном стульчике и вертит барабан покупателю на счастье.

Света рассказывает, что она тоже покупала билеты, но почему-то не выигрывала и досадовала, и удивлялась. Мовзон же, мудрый старик, говорил, что у него их вон сколько, а ведь тоже не выигрывает. Он похож на железнодорожного кассира, у которого билеты на все направления, а сам он никуда не выезжает.

— Я дочь шофера и регулировщицы, Серафима Петровна. Фронтая, в общем-то. Сейчас покажу...

Света уходит в комнату и возвращается с бумажкой в руке.

Самарина читает про себя пожелтевшую бумажку и качает головой.

Это старое письмо, в сгибах оно порвалось, чернила на нем выцвели. Написано в письме про какую-то регулировщицу рядовую Овсянникову, что в момент, когда ее смертельно ранило на дороге под Кюстрином, она преждевременно родила дочь. Что отец новорожденной — шофер Егоров из мотострелкового батальона. Что и он не увидел своего ребенка, погиб на Одере. А когда умирал четырнадцатого апреля сорок пятого года на руках товарища, просил не оставить девочку.

— Необыкновенная вы моя! — восклицает Самарина и обнимает Свету. — И как же тогда товарищ-то?.. Что потом? Участие в вас принимал? Где он?

— Так это же Мовзон. Лотерейщик. А о том, как да что, долго рассказывать. В другой раз как-нибудь. Сегодня у нас праздник, сегодня не надо.

— Ну хорошо, хорошо, — соглашается Самарина и дотрагивается до ее руки. — Тогда расскажите, как со Степановым-то у вас получилось. Где познакомились? Он ведь не разбитной, такой сразу не женится.

— Опять-таки в метро через Мовзона. Лето в Москве было гнилое, что ни день, дождь и дождь. Да лучше спросите Степанова.

— Это зачем же?! Вот уж ни к чему. Мужчины мнительны и подозревают, что неспроста их расспрашивают.

— А смешно получилось. — Света смеется, глядит на часы, потом в окно, где по-прежнему кружит метель. — Проговорим, а скоро пять, там уж и гости...



Мовзон во всем виноват, — продолжает она. — Лето было, что ни день, то дождь. Пассажиры, кому вниз к поездам, те в мокрых плащах, а кому наверх — те не спешат. Ну самая торговля билетами! Подходит к Мовзону лейтенант. Китель хоть выжми, с козырька каплет — и сразу берет на десятку.

— Ого! Степанов, значит?

— Мовзон говорит — он начитанный такой! у одного древнего поэта, молодой человек, имеется прекрасный стих о том, как бы он поступил, купив на базаре счастье... Конечно, если бы продавалось. Раздал бы людям поровну, а себе ничего не оставил! И здоровье. Купил бы и тоже раздал! И радость. Представляете? И лейтенант начал кому попало совать билеты. Люди отказываются, думают: выпивши. И мне показалось. Вот как познакомились.

— Ай да Степанов! Купец! — удивляется Самарина. — А может, все-таки он выпивши, а?..

— Ни-ни! Ни в одном глазу! — машет Света руками.

— Занятно и неожиданно. — И Серафима Петровна останавливает на ней взгляд. — А в неожиданном и занятом всегда поэтическое, — добавляет она.

— Да это еще что-о... — тянет Света и с хрустом протирает полотенцем рюмку, а потом рассматривает ее на свет. — На другой день назначили. А дождь, дождь!..

— Погоди, милая, позвоню Галеевой, чтобы рюмок захватила, а то не хватит. И вообще всех обзвоню, чтобы приходили, не ждали своих. У них совещание, заявятся скопом.

— Может, хренок у кого есть, пусть принесут.

Кухонька заставлена закусками. Они на столе, на подоконнике и стынут между рамами. В духовке то-

мится жаркое. Пирог отдыхает на блюде под полотняным полотенцем. Воздух на кухоньке такой плотный и вкусный, хоть режь на куски и подавай к столу.

Вот уж минут пять как Самарина говорит по телефону все одно и то же: «Ну что же вы?! Все готово, ждем! А мужья потом, потом... у них сощание».

— Сейчас придут, — сказала она, появляясь в дверях. — А как дальше, Светочка? Говорите, дождь?

— Берет такси, — продолжает Света. — А куда берет, не знаю. Приезжаем в Черемушки — там солнце. Гуляем просто так по Первой Черемушкинской, и вдруг туча и тоже дождь!.. Опять такси, опять шофер спрашивает: «Куда?» Степанов ему отвечает: «Туда, где прояснило». Мчимся. А прояснило в Измайлове, представляете? И только прошли там по аллежке — вот тебе, опять полил как из ведра! И опять — такси. И опять: «Куда?» «Да туда, где прояснило». Так и метались по Москве, накатали по счетчику бог знает сколько, пока туча не прошла.

— Да вы хоть бы в кино, в забегаловку какую. А вообще и я заинтересовалась бы таким мужчиной. Не в ресторан к бутылке тянул, а из-под ненастья к солнцу. Как у вас, право, все чисто и, знаете ли, по-особому. Вот я про свое знакомство не могу сказать...

Раздается звонок, и Самарина не договаривает, идет открывать дверь. По густому тембру голоса Света догадывается, что пришла Ася, жена майора Прохорцева, и пока что-то там восклицает с Самариной, звонят еще. И вот уже к их голосам прибавляется третий, грудной, — Грачевой, жены артиллерийского подполковника. Войдя в комнату, женщины поочередно чмокают Свету в щеку, а руки Света

прячет далеко за спину, боясь, как бы не испачкать их нейлоновые кофточки.

— Вы послушайте, что она рассказывала! Вон, оказывается, какой Степанов-то! И не подумаешь. Повторите, Света, повторите, — просит Самарина.

— Ну что вы, — опускает Света глаза.

— Тогда я. — Самарина передает гостям, что услышала от Светы, и гости соглашаются: чистая любовь и начинается чисто, вон какой Степанов-то!

— А Света в метро работала, товарищи. И тоже вот порассказала!.. Может, и мы когда к ней обращались: «Как проехать в ГУМ?» Вспомните-ка! Может, и обращались.

— А что, — смеется Света. — Бывало, подходит пара. Он военный, пожилой. Да и она в летах. «Девушка, подскажите, как в ГУМ?» Всегда думала: наверно, с фронта у них любовь, наверно, выносила его с поля боя...

— Ой, что вы, душечка, что вы! — трясет пухлой ладошкой Самарина. — Это в пьесах и в кино для складу. Я про себя скажу: зацепила своего авоськой за пуговицу. Ей-богу! Вот так и познакомились. Ну, а дальше — больше.

— По-разному случается, — грудным тембром подтверждает Грачева, разглядывая Свету. — Это кто как. Бывает, женщина начинает знакомство, но чаще мужчина.

— А у вас-то как было, у вас-то? — спрашивает ее Света.

— У меня?! — вскидывает шнурки бровей на лоб Грачева. — У меня просто. Я фронтовичка, зенитчица. А Грачев был командиром батареи. Вот, кажется, и все. Поженились.

— Нет, нет, — протестует Самарина, — расскажи по порядку.

— Порядок такой. Сперва батарею «мессера» брили, и я едва в живых осталась, еле на ногах держалась. Десять минут — не шутка!.. А Грачев посылает чистить картошку. В горячке позабыл, что я с поста. Ну, ни слова, пошла... Потом уж признавался: понравилась за покорность.

— Как интересно-о!.. — говорит Света.

— Ну, милая, всякому времени свое, — замечает Грачева.

Молчит лишь Ася Прохорцева, совсем еще молодая, как и Света, но со строгой складкой меж бровей, тяжелым пучком волос, спадающим к нежной, чуть розовой шее. Асе как бы даже нечего и вспомнить. Знает Прохорцева с мальчишек, учились вместе, так что вроде бы всегда была с ним знакома, чуть ли не с пеленок — ведь из одной деревни. Играли тоже вместе. Но давным-давно, когда деревня их после войны отстраивалась. А поженились, когда Прохорцев стал уже офицером. И вот тут пошло. Уходила от него. Правда, это в другой части, тут никто не знает. А было так. Он с утра до ночи с солдатами в казарме, а она одна и одна. Он придет, свалится на диван, как сноп, а утром снова уходит технику осваивать. Только и скажет: «Уж сегодня-то мы окончательно пойдем с тобой в кино». Но вот уже вечер, а его все нет. Однажды так вот собрала она чемодан и оставила записку... Он приходит, читает, видит, нет жены и, как ни в чем не бывало, ложится спать. Утром все в части узнают, соболезнуют. Вызывает его командир. «Случается, говорит, с нашим братом, только и оцениваем жен, когда уж поздно...» — «А что? — будто бы ответил ему Прохорцев. — Хо-

рошая она у меня была, это верно. Сказала уйду — и ушла».

Таков Прохорцев. Не погнался. Написал только в письме: «Что же это ты, а?! Думала, военное дело — это тебе крапиву прутьями за сараем хлестать?»

Месяца через три она вернулась.

Этого здесь не знают. Не знают, и хорошо. Пусть считают скрытной, и Ася молчит.

А Свете ужасно как хочется знать о ней, но чувствует она, что рассказывать Прохорцева не собирается. Да и то сказать: может, у нее действительно с мужем что-нибудь такое, не как у всех, и допытываться ни к чему. «Это у меня все ярко и складно так, что все удивляются, хвалят Степанова», — думает Света, и на душе у нее радостно, просторно.

«Скорей бы приходили. Уж эти совещания!.. Наверно, злыми явятся, усталыми», — думает она и, прильнув к оконному стеклу, вдруг видит под самым окном, где посажена неизвестно откуда привезенная сюда, в эту степь, елочка, фигуры.

— Идут! Пришли!.. — зовет она женщин к окну.

Под порывами ветра елка вздрагивает, ее осыпает сухим и шуршащим метельным снегом, искрящимся, как брызги бенгальского огня. Света вскакивает на табуретку и до пояса высовывается в форточку.

— Давайте! — кричит она. — Все готово!

Четыре мужских силуэта медлят, не отвечают. Но вот басы майора Прохорцева и подполковника Самарина затягивают:

*Терем, терем, теремок.*

*Он не низок, не высок...*

— Кто, кто в теремочке живет? — вдруг спрашивает тенор старшего лейтенанта Степанова.

— Давайте, давайте! — зовет Света и машет рукой, чтобы шли скорей.

На лестнице слышны шаги. Дверь открывается, и майор Прохорцев уже на пороге снова вопрошает басом:

*Терем, терем, теремок.  
Он не низок, не высок.  
Кто, кто в теремочке живет?..*

\* \* \*

Вечер над гарнизоном в степи. Последняя метель штопает белыми нитками зиму. Четырехэтажный дом офицерского состава сияет огнями окон. Он возвышается на пригорке в одиночку и кажется огромным чемоданом со множеством разноцветных наклеек.



## ШЕПЧУТ СНЕГА

Когда валит хлопьями снег, покрывая крыши домов, деревья, заборы, шапки, платки, плечи, то слышите ли вы его шепот? Прислушайтесь. Снег что-то нашептывает. Возможно, он нашептывает были прошедших времен, сказания? Нет, вы прислушайтесь! Он шепчет, шепчет, и сердце ваше таинственно и чудно замирает. Не торопите эти редкие минуты, пусть продлятся дольше. Они придают торжественность и чистоту мыслям, мечтам, надеждам: вы как бы остаетесь один на один с самим собой, ощущая что-то огромное, что может сравниться только с тишиной русских полей и лесов, которую дано слышать лишь сердцу.

Лейтенант Говорухин

шел лесом. Идти же ему предстояло порядочно. Время от времени он снимал кожаную перчатку и хлестал ею по плечам, по шапке — отряхивался от снега. Шлепки гулко раздавались по лесу, вроде бы кто повторял их в точности, и у Говорухина создавалось впечатление, будто среди елей и сосен он не один, а таких Говорухиных много, они веселы, как он, только вот он у них главный, и они ему подчиняются. Хлопает он рукой об руку — и они тоже, и у них тоже такие же перчатки, купленные в военторге; запоет — запоют и они; смолкнет — и они уж не знают слов дальше, ждут подсказки.

Так он шел лесной непроторенной дорожкой, сокращая путь в свою воинскую часть, где служит второй год и где под его началом взвод. Там у них в части все есть: и военторговский ларек, и солдатская чайная, и небольшая клуб, и финские домики для офицерских семей. Только нет почты. Контора связи находится в пяти верстах. В контору связи он и ходил купить открытки, чтоб написать поздравления каждому молодому солдату в день принятия присяги. Эту мысль ему подал ефрейтор Востроилов, костромич из Сусанинского района. Этот Востроилов — парень под потолок, лицом крупен, волосом рус, говорит басом. Мысли ефрейтора Говорухин радовался. Он вообще был мягок по натуре и обладал бесценным даром находить во всем радость и удовлетворение. Был еще и поэтом. Однако не сочинял стихов, не писал их, а просто имел душу чуткую, ко всему прислушивающуюся и восприимчивую. Бывают такие счастливые люди, нередки они на русской земле. Это — поэты в жизни, и особенность их та, что сами того не знают, а живут без претензий, какими уродились, какими создала их природа.



И Говорухин прислушивался к еле уловимому шепоту падающих хлопьев, и ему казалось, что он слышит тихую, приглушенную веками не то быль, не то сказку про этот древний лес и старую дорогу. Ему казалось, что и падающие хлопья такие же древние, как лес, как дорога, и что хлопья когда-то давным-давно уже кружились и падали здесь. Говорухину пришло это в голову вместе с мыслью о настоящем Иване Сусанине и о костромиче ефрейторе Востроилове, который с льняной бородкой должен читать сегодня на концерте стихи Рылеева о Сусанине. Говорухин и дальше бы дал волю воображению, представив, как вон там, вправо, в буреломе, стоит огромного роста старик с батогом в руке, окруженный утопающими по пояс в снегу и гибнущими врагами, но помешал гусь, которого он нес для торжественного ужина в честь приглашенных в полк ветеранов.

Гусь был белый как снег, как и сам Говорухин, облепленный снежными хлопьями, как ели, сугробы, и вообще все вокруг. Желтел один нос. Гусь вертел головой, будто запоминал обратный путь, по которому собирался бежать назад, в райцентр, и временами так оглушительно-скрипуче гоготал, что слышалось за версту, и у Говорухина сразу пропадало раздумчивое настроение. Раза два гусь вырывался и, проковыляв по дороге, пытался спастись в сугробе. Говорухин поднимал полы шинели, кидался за ним, хватал за что попало и, отфыркиваясь от снега, продолжал путь. Он вымолил этого гуся в райцентре, порядочно переплатив, словно покупал бог знает какого древнеримского на развод.

Говорухин представил, как, должно быть, удивится библиотечарша Тася, которая сама вызвалась го-

товить ужин для гостей. Она непременно заступится за птицу, будет укоризненно качать головой, щуриться и коситься исподлобья. Она всегда так щурится, если он вдруг что-либо придумает, покупает что-нибудь не посоветовавшись, и это у нее не кокетство.

С Тасей его связывала хорошая дружба, и Тася рассказывала ему все о своей жизни!.. Правда, в ее прошлой судьбе ничего такого, уж очень необыкновенного, не было. Согни тысяч детей остались сиротами после войны, и не перечеть тех испытаний, которые выпадали на их долю. Что ни ребенок, то своя история. Вот тогда-то и пятилетнюю Тасю подобрали. А где и кто — она не помнит. Так, чуть-чуть, смутно. Лицо женщины, пригревшей ее, как в тумане. Остался, как это часто случается, один лишь штрих далекого детства: живут они в каком-то пустом доме, в котором ничего, кроме окон, нет. Не видно рядом и других домов, вокруг ямы, битый кирпич, кусачая крапива, а за ней уходящая вдаль дорога. Однажды женщина начертила алфавит, показала буквы, а позже и научила читать нараспев, по складам. Но так как в доме не было у них ни одной книжицы и достать ее было неоткуда, женщина взяла Тасю за руку и повела на бугор за дорогу. На том бугре находилась братская могила, а на ней стоял обелиск, испи-санный с четырех сторон фамилиями погибших. «Вот читай, моя маленькая. Это и будет твоей первой прочитанной книжкой», — сказала женщина. Тася бегала на бугор чуть ли не каждый день, читала и перечитывала, и нет ничего удивительного в том, что она по сие время помнит почти все фамилии, которые были на обелиске.

Но вот где это было, жива ли та женщина, где та братская могила, на которой она училась грамо-

те, — не знает, не помнит, и с каждым годом ей все больше кажется, что она сама о себе придумала в меру мудрую и в меру печальную сказку.

Она кое-что и еще высказывала Говорухину. Например, что, открывая каждый новый роман о войне, все ищет и ищет в нем имена похороненных в той братской могиле...

Смеркалось. Снежные хлопья превратились в темно-серые, как и небо. Лес начал редеть, и перед Говорухиным открылось небольшое знакомое поле, а за ним едва различимые контуры деревеньки, от нее километра полтора — и он у себя в части. И чтоб не идти с гусем под мышкой по деревне, Говорухин взял вправо к фермам, так что пройдет он только возле крайнего дома с колодцем, у которого, на счастье, может никого не оказаться, а то ведь какие бабы-то — заведут что-нибудь насчет гуся, и не отбрешешься!

Да, видно, не суждено было Говорухину проскользнуть незамеченным. Поравнявшись с домом, он услышал страшный стук в оконную раму: стучала старуха и подавала из-за герани отчаянные знаки зайти.

Говорухин пожал плечами и вошел в сенцы, где она его и встретила.

— Гуся здесь в закуске за ларем оставь... Уж я и на дорогу бегала, уж и туда и сюда, все думала, ваших встрену. Нет никого. Постоянно машины одна за другой, одна за другой так от вас и сыплют, а сегодня — ни одной! — Она утирала фартуком слезы.

— Да что у вас такое? — спросил Говорухин, заглядывая за занавеску в горницу и увидев старика.

Говорухин обратил внимание на ворох писем на столе перед стариком. Нет, это был не ворох, а це-



лая гора! То были письма-треугольники, о которых он, правду сказать, только слышал — слались такие фронтовиками домой, — но не видывал и не держал в руках. Письма лежали на пухлой кровати, застланной тканевым одеялом, на стульях, выдвинутых на середину горницы, на подоконниках. Старик, по-видимому, читал их и рассортировывал в каком-то нужном ему порядке.

— Горюшка-то сколько, скорби! — повела на них заплаканными глазами хозяйка. — Вот какое уж письмо без счета читаем, и все одно-единое без конца-краю. Ты садись, садись, выслушай, что получилось.

— Ну так вот, лейтенант, — подвинулся к Говорухину старик, снял очки, строго взмахнул ими в сторону жены, чтоб помолчала. — Как, бывало, полез в погреб, так распорку и пробую, не сдает ли. Не сдавала. Погреб у меня сухой...

— Что соленья, что моркву круглый год держит, — вставила старуха.

— А тут гляжу, распорка подалась на боку, и кирпичи из стенки повывалились. В чем дело?

— Говорила тебе, ремонт делай. А то, кому сказать, до нас бог знает сколько этот погреб стоял да при нас...

⇒ Обожди! — затряс головой старик. — Это верно, ветхий. Сами-то мы дальние и тоже опосля войны без крыши остались. И было определено нам жить здесь. Поставили нам дом, вот этот самый. А погреб каким был при старых хозяевах, таким и нам достался. Один только верх ему отремонтировал... Это она верно. Так вот, значит, залез я нынешним утром в погреб за солеными огурцами, хотел распорку под-

править, да кирпичи как повалятся, ужасть! Вижу: дырища — во! Сую руку и достаю...

Он показал на цинку из-под патронов и Какой-то сшитый из брезента мешок, валявшийся под столом, встал, снял с гвоздя шапку и повел Говорухина в погреб.

— Ну что ж мне прикажешь делать с ими? — спросил старик, когда они вернулись в избу. — На почту снести? Иль в посылку да прямо в Москву?.. Триста писем!

— Горюшка-то в них сколько, скорби... — тягуче вздохнула хозяйка.

— Не ной, старая, не одно только горе! Вот глянь сюда. В этой стопе солдаты своим детям писали. Главная стопа! В этой — сыновья матерям. Тоже! В этой — мужья женам. Тут — невестам. В этой — своим друзьям в тылу. В этой — заочным знакомкам. Письма, помеченные одна тысяча девятьсот сорок третьим годом!.. Ты вот глянь сюда. — Старик взял с подоконника пачку и развернул сложенное треугольником письмо, лежавшее первым. — Какой-то Владимир Михайлович Поликарпов елку своему сынишке нарисовал... Глянь какая, вся в огоньках, игрушечках... А вот и яблок нарисован. На диво румяный яблок, не иначе штрифель. Его без красного карандаша не нарисуешь. Должно, из штаба был карандаш.

Старик перебрал так с десяток писем, сопровождаемых объяснениями, выдержками из них, собственными домыслами, догадками, а у Говорухина что-то тупое подкатывало к горлу и словно бы давило, не давало дышать. Торопливо взять эти письма и пойти с ними куда-то, может, действительно на почту, а скорей всего, разнести по тем обозначенным на них адресам, разбросанным из края в край по всей нашей

огромной стране и, наверное, существующим по сию пору. В его сознании то возникали, то исчезали озаренные разрывами снарядов картины ожесточенного боя, когда полковому почтальону ничего не оставалось, как замуровать солдатские письма вот здесь, в погребке, а самому погибнуть, как видно. И в продолжение нескольких минут Говорухин весь был с теми, чьи письма теперь лежали перед ним, но одновременно он был и тем, кому они адресовались. Это странное и сложное чувство, сковавшее его, было настолько сильным, что он не расслышал, как старик спросил:

— Ну так как же, заберешь? А мне расписку оставишь, мол, триста писем получил такой-то, и роспись, конечно. Искал и я письмецо... От сына... Нету. А ты не плачь, старуха! Чего ты плачешь?

— Самолеты у нас имеются, вертолеты... Вот, кажись, села бы и развезла все до единого по адресочкам.

— Космонавт нашелся! Да тут и за год не развезешь. Ну так решай, даешь расписку?

— Разрешите у вас гуся оставить. — Говорухин написал расписку и стал аккуратно укладывать пачки писем в цинку.

— Да шут с ним, пусть пожирует. — И старик вышел проводить Говорухина на крыльцо.

А снег валил и валил. Хлопья садились Говорухину на брови, набивались в уши, и хоть он чувствовал и слышал, как они тают, ему все ж казалось — снег шепчет и шепчет были о войне. Не Тася теперь владела его вниманием, а письма, фронтовые письма, которые он нес в цинке. А нес он их осторожно, точно взрывчатку, запал для которой хранил в сердце.

Он отлично представлял себе, как и что почувствует солдат его взвода Поликарпов, если взять и показать ему письмо фронтовика Поликарпова, неумело нарисовавшего мерзнувшей рукой в окопе наряженную елочку и румяное яблоко для сына... Представлял, как другой солдат из соседнего взвода — Окатов — будет держать в руках письмо с нарисованным, страшно дымящим и светящим паровозом, на котором какой-то Окатов фронтовик обещал сыну вернуться после победы над фашистами. Говорухин отлично представлял себе, что все это значит, и, более того, допускал случай, что кто-либо из солдат действительно окажется сыном того фронтовика, чье письмо ему покажут.

И лейтенант растерялся. Он даже остановился у контрольно-пропускного пункта, постоял, обдумывая, что же ему теперь делать: сегодня, сейчас показать письма или же потом? Если сейчас, то прощай и концерт, и веселье, и льняная борода костромича Востроилова. «Лучше потом, — решил он, — завтра. Но что получится? Я не пустил отцов на встречу с сыновьями! Что же делать?»

Говорухин и в самом деле не знал, как поступить. Он принес цинку с письмами к себе в комнату, запер в шкаф и долго сидел за столом, нервничал, вертел в пальцах авторучку.

— Но ведь фронтовое письмо приходило в любой день, и никто не считал, что оно запаздывало. Не так ли? — спросил он вслух самого себя и стал писать молодым солдатам открытки, за которыми ходил пять верст в районное отделение связи.



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Эхо . . . . .	2
В особняке . . . . .	11
Женский разговор	28
Шепчут снега . .	38

Михаил Аркадьевич СКОРОХОДОВ  
в ОСОБНЯКЕ  
Художник И. ПЧЕЛКО

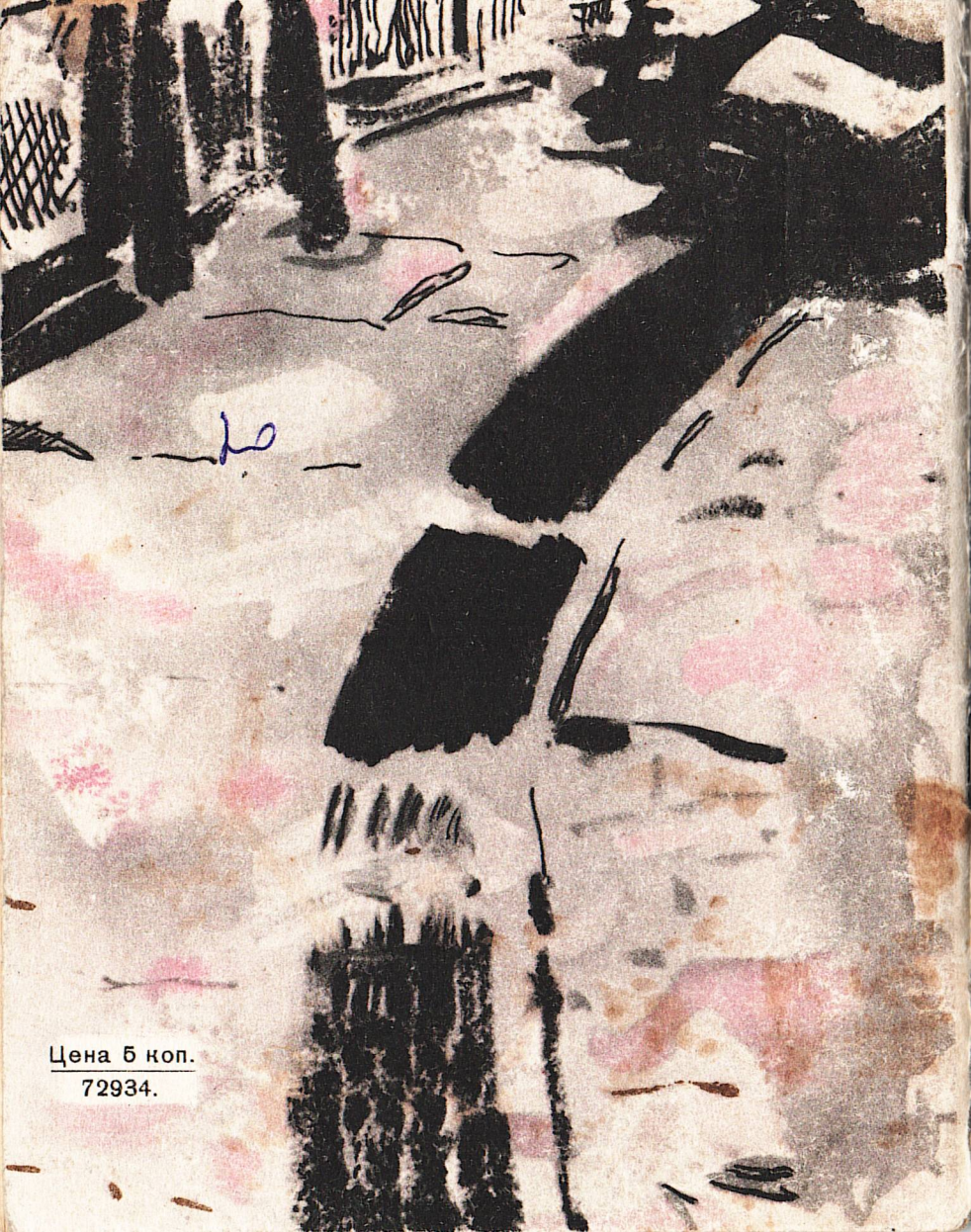
Главный редактор Ф. Царев  
Литературный редактор Н. Рачкова  
Художественный редактор Ю. Королев  
Технический редактор Ю. Гончаренко  
Корректор Л. Приселкова

---

Адрес редакции: Москва, Д-47, Хорошевское шоссе, 38/40  
Г-40011. Сдано в набор 19/ХІІ 66 г. Подп. к печ. 13/І 67 г. В печ. л. 65 000 тип. ан.  
Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> — 1,5 печ. л. = 2,08 усл. печ. л. Цена 5 коп.  
Изд. № П/9360 Зак. 541.

---

1-я типография  
Военного издательства Министерства обороны СССР  
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.



Цена 5 коп.  
72934.